

А. Ильхамов

НАЦИОНАЛЬНОЕ И ЭТНИЧЕСКОЕ КАК КОНСТРУКТЫ И/ИЛИ ЯВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА: ОТВЕТ ОППОНЕНТАМ

Я понимаю, что фокусом настоящей дискуссии является не столько моя статья, любезно опубликованная журналом “Этнографическое обозрение”, сколько ряд принципиальных вопросов, которые могли возникнуть при ее чтении. Это и ставший уже часто вспыхивающим спор о природе этнического, национального и метанационального, и в этой связи – о наследии советской эпохи как с точки зрения теории национализма, так и в плане практики национально-государственного строительства. Поводом для пересмотра позиций советской школы этнологии служит не только ознакомление с социальными теориями, ранее малознакомыми для отечественного исследователя, но и всплеск энергии национализма в пост-советский период, потребовавший своего осмысления и новых подходов в его изучении.

С. Абашин совершенно точно обозначил главную линию размежевания в этом диспуте – конфликт между ставшим уже анахронизмом старой школы этнологии и попытками взглянуть на национальные вопросы через призму современных теорий. Он верно определяет мою статью как опыт применения метода конструктивизма к изучению узбекской идентичности, и даже, вторя другому рецензенту – А. Халиду, упрекает меня в том, что я не следую ему до конца. Но, признаюсь, я вовсе и не пытаюсь возводить этот метод в некий абсолют. Здесь моя позиция более близка к той, которую высказал П. Финке, предостерегающий от фундаментализма в теории конструктивизма. Как говаривал Кузьма Прутков, всякая односторонность подобна флюсу.

Почему же не всегда разумно следовать до конца тем или иным методам или той или иной теоретической парадигме? А потому, что можно прийти в противоречие с реальностью, а, кроме того, остаться глухим для других альтернативных подходов. Вот и Абашин уже ссылается на постконструктивистские подходы, которые, правда, на поверку могут оказаться тем же конструктивизмом, только доведенным до своей крайности. Поэтому помимо верности определенной теоретической схеме, я бы также по возможности оставил в арсенале исследовательских средств индуктивный метод, чуткий по отношению к эмпирическим данным, особенно там, где чрезмерная строгость в применении того или иного метода может привести к не вполне убедительным заключениям.

Конечно же, апология радикального эмпиризма также малопродуктивна, поскольку любой факт, в свою очередь, есть в некотором роде конструкт, продукт интерпретации его воспринимающим субъектом. Сам отбор фактов всегда субъективен и в некотором роде детерминирован тем методом или теорией, которыми вольно или невольно одержим исследователь. Банальностью было бы утверждать, что удачен тот исследователь, по крайней мере в сфере социальных наук, которому удастся найти баланс между верностью определенному методу, открытостью альтернативным теориям, чутьем в отборе фактологических данных – и при этом избежать эклектизма.

Кстати, сам Б. Андерсон, один из авторитетов теории конструктивизма в вопросах наций и национализма, вынужден был поправлять и смягчать позицию другого конструктивиста Э. Геллнера. Для последнего возникновение наций напрямую связано с современными политическими институтами и появлением так называемых современных государств. Геллнер вместо термина “возникновение” применял более “сильный” термин “создание” (nation invention), представляя нации как продукт дея-

тельности современных государств и процесса модернизации. Против односторонности “модернистского” уклона Геллнера восстал его же ученик Э. Смит, который попытался несколько восстановить интерес к этническому как предтече наций. Выступая на знаменитом варвикском диспуте по вопросам национализма¹, он не возражал против того, что национализм и нации являются продуктами современных исторических условий, связанных с индустриализацией, социальной мобильностью, массовым образованием и формированием сферы так называемой высокой культуры (Андерсон дополняет этот ряд печатным капитализмом²). Но он говорит, что в описании феномена национализма “это только половина истории”. Другая половина связана с природой этнического, которая происходит от таких явлений, как коллективные память и мифотворчество, групповая консолидация вокруг определенных символов, традиций, норм и ценностей. Благодаря этим более древним по происхождению факторам протонациональные этнические группы обладают определенной, хотя и слабо акцентированной, самоидентификацией, которая становится “выпуклой”, как правило, в период возникновения национальных движений и идеологий, а также современных национальных государств.

Позиция Смита, возможно, и порадует наших отечественных “примордиалистов”. Но нельзя забывать, что сам Смит все же остается в рамках конструктивизма, проливая его свет и на природу этнического, показывая при этом сложный и в некотором смысле спонтанный характер этнического. На наш взгляд, спонтанность этническому придает активная роль рядовой интеллигенции и лидеров низшего и среднего уровня. Когда я рассуждал о конструировании современной узбекской идентичности, то имел в виду и этническую сторону вопроса, и национальную (от слова “нация”, взятого у его западной интерпретации).

Мне кажется, Абашин здесь несколько игнорирует различие между этими двумя модусами конструктивизма – умеренным и фундаменталистским, когда пытается свести мою позицию к взглядам советологов, для которых процесс конструирования наций (цитирую Абашина) «рассматривается исключительно как целенаправленная деятельность узкого круга элит, “воображающих” и “изобретающих” сообщества». Тут как раз имеется очень важное и тонкое различие между терминами “воображающих” и “изобретающих”. Второе скорее относится к позиции Геллнера, в то время как первое отстаивает Андерсон, который утверждает, что “воображение” – это в некоторой степени естественный и коллективный процесс, а не исключительная заслуга правящих элит, хотя он и обусловлен комплексом современных (модернистских, по терминологии Геллнера) условий. Я также пытался показать, следуя Халиду в его замечательной книге про джаидов³, что идея “узбеккости” (Uzbekness) рождалась первоначально в недрах джаидистского интеллектуально-просветительского движения (и я рассуждаю о них без тени какого бы то ни было осуждения) и только затем была подхвачена советскими политиками.

В этой связи мне представляется неправомерным ставить знак равенства между конструктивизмом и советологией, которая более склонялась к теории заговора (conspiracy theory), давно преодоленной в западной социологии и считающейся нон-сенсом в современной академической среде. Важное отличие умеренного конструктивизма от крайних образцов советологии состоит в том, что последователи первого вовсе не сводят возникновение узбекской и других советских наций к темным замыслам советской власти, хотя факт социальной инженерии признается ими как один из источников этих квазигосударственных образований. Халид в своей книге о джаидах показывает, как в этом процессе поиска национальной идеи участвовали и даже лидировали в определенный период местные интеллектуалы. Он пишет, что само понятие “миллат” (нация) в устах джаидов на первых порах еще не полностью утратило своего исламско-религиозного значения. Джаиды только стали нащупывать и формировать идеолого-патриотическую терминологию. Используя ее, они пыта-

лись мобилизовать и пробудить к прогрессу и объединению мусульманские массы в Средней Азии. Понятие “миллат” и было здесь одним из ключевых знаковых понятий. Но оно не являлось в чистом виде этническим по своему содержанию. Местные джадиды (например, Бехбуди) часто использовали как синонимы понятия “узбек” и “тюрк”. Идея же тюркизма, в свою очередь, была не столько этнонациональной, сколько социально-прогрессивной, служа проводником реформистских (модернистских) мусульманских идеологий, рождавшихся в лоне Османской империи, особенно в среде младотурков⁴.

Примерно этой же линии придерживался и я в своей статье – показать не только волю государства и правящих элит, но и участие местных интеллектуалов в лице Лапина, Фитрата, Бехбуди и др. Они как раз не были озабочены интересами властных элит, а подыскивали струны, которые вызвали бы отклик в народных массах, пробудили бы в них национальное самосознание. Большевики однажды осознали, что не воспользоваться тем символическим капиталом, который накопило движение джадидов, было бы неразумно. Поэтому я вовсе далек от мысли характеризовать создание узбекской государственности как абсолютно искусственное, “неправильное” и “зловредное”, как считали советологи, и далекое от интересов и чаяний масс. В этой связи Абашин не совсем правомерно приписывает мне взгляд, согласно которому “среднеазиатские нации... были искусственно созданы советской властью”.

Нет, дело обстояло гораздо сложнее. У большевиков, принимающих стратегические решения, был всегда выбор из различных конкурирующих между собой и вполне аргументированных вариантов национальной политики. Если говорить о том, чем они руководствовались при выборе того или иного варианта, то здесь не было некоего заранее заданного решения, оно скорее выработывалось по ситуации, исходя из комплекса факторов – классово-идеологического подхода, прагматических соображений, оценки межэтнических отношений в регионе, геополитических соображений, ожидаемой реакции на мусульманском Востоке и т.д.

Кроме того, я думаю, исследователям еще предстоит изучить факт и степень участия средней прослойки местной интеллигенции в формировании того облика национального государства, который сложился в конечном итоге. Работа этой средней прослойки была незаметной в каждом индивидуальном случае, но в целом получалась некоторая коррекция генеральной партийной линии, навязываемой сверху. Эта коррекция проявлялась, например, в участии местного аппарата и интеллигенции в переписях населения, когда следовало в каждом отдельном случае установить этническую принадлежность того или иного домохозяйства или поселения. Частично об этом участии местных интеллектуалов и чиновничества в формировании основ и канонизации современного узбекского языка пишет У. Фиерман. Безусловно, его уточняющие замечания о процессе поиска вариантов канонического узбекского языка весьма дополняют картину, которую я пытался воспроизвести в своей статье. И. Савин также привносит очень важную перспективу сравнения с Казахстаном относительно обстоятельств создания современной казахской идентичности, которые узнаваемы и для исследователя современного узбекского общества.

Возвращаясь к вопросу о взаимоотношении этнического и национального (последний термин я опять-таки беру в его западной трактовке как связанную с гражданством определенное государство), я хотел бы сказать, что эта связь до сих пор остается до известной степени нераскрытой загадкой. И здесь Абашин совершенно прав, говоря о задаче “объяснить, как и почему человек или общество принимает это имя, эти границы и эти символы, как и почему человек или общество подчиняется им – и подчиняется ли”. Примерно этим же вопросом задавался и Э. Смит. Хотя невозможно сбрасывать со счетов вопрос о степени спонтанности возникновения этнического и этнонационализма, все же представляется, что только со значительными оговорками можно говорить о процессе “естественно-исторической” эволюции,

против концепции которой я возражаю, когда речь заходит о таких современных национально-государственных образованиях, как Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан и т.п. Последние, наверное, в еще большей степени, чем национальные государства в Европе, возникли при активном участии господствующих политических институтов и элит. В то же время следует признать, что эти новые государственные образования возникали не на пустом месте, а в результате кристаллизации, реконфигурации и комбинации определенных этнических или протоэтнических образований, состоявших между собой в определенном родстве. Однако абсолютно неприемлемо говорить о какой бы то ни было телеологической предопределенности в образовании конкретных национальных идентичностей. По этой причине я считаю необоснованным введение советским историком Якубовским в оборот термина “староузбекский” (точно такое же отношение у меня к понятиям типа “исторический Таджикистан”).

История есть в принципе процесс открытый, с точки зрения ее полной непредсказуемости, а исторический процесс – не что иное, как результирующая, складывающаяся в итоге сложения множества противоречивых тенденций и факторов, комбинация которых постоянно изменяется. Хотя история не знает сослагательного наклонения, нетрудно представить, что 1920 г., когда Ленин решал вопрос, каким национальным государствам быть на территории Средней Азии, могли возобладать и иные схемы национально-территориального устройства. Так, Геллнер приводит в качестве примера Эстонию: эстонцы в XIX в. вообще не имели даже самоназвания и стали самоидентифицирующей нацией только в XX столетии. Такой же нацией, к примеру, могли стать и сарты, которые, по крайней мере, имели свой так называемый сартский язык, послуживший позже первоосновой современного узбекского языка.

В своей статье я прослеживаю траекторию эволюции тех общностей, которые вошли в категорию узбекской национальности (здесь я опять возвращаюсь к советской интерпретации национального). Каждая из этих этнических или субэтнических общностей уже имела на тот момент определенную этнокультурную идентичность, обладавшую комплексной иерархической структурой, слоями которой служили религиозная, территориальная, языковая, родо-племенная и иные типы принадлежности. На базе этого чувства принадлежности формировалось чувство “мы”, позиционированное по отношению к “другим” (этносам, племенам, культурам).

Это чувство “мы” было весьма партикулярно и до момента образования советских национальностей являлось предметом волюнтаристской конструкции гораздо в меньшей степени, чем регистрируемые позже этнические общности и национально-государственные образования. В формировании последних принимали активное участие государство, партия, российская и местные интеллектуальные элиты, но кроме того и “объективные” модернистские процессы – бурное развитие печатного дела, рост грамотности населения, развитие системы образования, формирование оплачиваемой категории работников интеллектуального труда, создание книжного рынка и других социально-культурных институтов (библиотек, средств массовой информации и т.д.).

В этот модернистский период сами этнические и субэтнические образования также активно развивались и реструктурировались, адаптируясь к новым явлениям и прежде всего к национально-властной иерархии, напоминавшей своего рода матрешку: СССР как самая большая матрешка, далее в порядке значимости – национальные союзные республики, национально-автономные республики и округа и, наконец, этнические группы, не имевшие никаких представительных административных структур. Весь последующий перестроечный и постперестроечный взрыв национализма тесно связан со сломом этой “матрешечной” иерархии, старательно и последовательно лепившейся советской административной системой, но не выдер-

жавшей, тем не менее, натиска местного национализма. В этом крушении советской национально-государственной системы есть, безусловно, сильный элемент спонтанности или, по крайней мере, спровоцированности со стороны местных национальных лидеров и движений. Новые национальные элиты постсоветского периода взяли под контроль ситуацию в своих республиках далеко не сразу, а в Таджикистане – только в конце 1990-х годов. Таким образом, между системами, построенными на полномасштабной центральной правящей элиты (советской и постсоветской), имел место разрыв, в котором относительную свободу получили стихийные социальные силы этнонационализма. Лозунги национального самоопределения этого периода хотя и были разновидностью конструкта, но в их формировании участвовали не столько государственные структуры, сколько лидеры гражданского общества.

Смысл того, о чем я сейчас говорю, заключается в подчеркивании этой двойственности, противоречивости и в то же время единства национального и государственного, в различении национализма, вырастающего снизу из гущи населения (я нахожу для него только англоязычное определение – *grass-root ethno-nationalism*), и другого типа национализма, инспирированного “сверху”. При этом я сознательно упрощаю эту дилемму, чтобы четче обозначить суть проблемы. Оба источника национализма работают на самом деле часто во взаимной связи. С. Абашин совершенно прав, говоря о том, что роль элит и государства в этом вопросе достаточно прозрачна и очевидна. Гораздо труднее изучать спонтанный *grass-root* национализм, механизм его раскрутки. Здесь роль местечковых лидеров – авторитетов местных тусовок, чайхан, кафе, махаллей и т.п. – весьма значительна, хотя, как я уже сказал, незаметна в каждом индивидуальном случае⁵. Так вот, если благодаря Халиду роль верхушки национальной интеллектуальной элиты достаточно освещена, то “работа” многочисленного отряда этих малоизвестных лидеров местных общин осталась пока за кадром – не только в моей статье, но и в социальных исследованиях по Средней Азии вообще.

Теперь хотел бы остановиться на отклике Ш. Камолиддина, но не потому что она примечательна и оригинальна, а, наоборот, потому что достаточно типична для официально одобренной в Узбекистане доктрины этногенеза узбекского народа. Прежде всего хотел бы обратить внимание на одну характерную фразу в его рецензии. Говоря о появлении “Этнического атласа Узбекистана”, он утверждает, что “ожидания многих людей были омрачены из-за наличия в этом издании большого количества погрешностей, недочетов и упущений, а в отдельных случаях и грубых ошибок, значимость которых выходит за рамки научной дискуссии и приобретает политическое значение с негативными последствиями, отнюдь не служащими интересам самого узбекского народа”. В этом пассаже Камолиддин невольно обнажил тесную связь между вопросами национальной идентичности и интересами авторитарного режима, имеющего тенденцию монополизировать право говорить от имени “интересов узбекского народа”.

Но на отклик Камолиддина невозможно отвечать адекватно, не принимая во внимание распространенность примордиалистской парадигмы на всем постсоветском академическом пространстве. Эта этнологическая парадигма весьма органично сочеталась с господствующей в советскую эпоху идеологической доктриной и, как видим, до сих пор остается достаточно представительной. Об этом свидетельствует не только критический отклик Камолиддина, но и рецензия российского ученого С. Губаевой, которая, как мне кажется, озабочена защитой чести мундира советского ученого (так сказать, за державу обидно!) в большей степени, нежели поисками аргументов в пользу господствовавшей при Советах теории этноса и происхождения наций. Даже когда ученый-этнолог посвящал себя эмпирическим исследованиям, он не мог этого делать без одобрения и организационной поддержки партийных органов, строго следивших за соблюдением идеологически приемлемых рамок исследо-

ваний. Как пишет М. Ларюэль, эти исследования ограничивались описанием архаичной бытовой культуры, но только не живыми этническими процессами, полными конфликтов и противоречий. А если таковые и изучались, например, межнациональные браки, то выводы должны были служить тезису о сближении социалистических наций. Так сказать, расцвет через сближение и наоборот.

С одной стороны, Губаева с порога отвергает мою попытку пересмотра итогов советской национальной политики, превращая патриархов советской школы истории и этнологии в нечто вроде “священной коровы”, подвергать критике которых является для нее святотатством и верхом несправедливости. С другой стороны, она вовсе и не отрицает того факта, что советская власть (цитирую далее из ее отклика) “делала свое дело”, что “делали свое дело и советские ученые”, что “они были вынуждены учитывать и интересы государства, интересы господствующей идеологии”, что “современная идентификация узбекского народа – продукт усилий советской власти”. Но эту социальную инженерию она подает как деятельность вполне разумную и отвечающую тенденциям этнических процессов. Но так ли уж безупречны плоды советской инженерии в области национально-государственного строительства?

Советы тщательно выстраивали, как я уже отметил, трехступенчатую модель национально-государственного устройства. Эта иерархия действительно некоторое время предохраняла от крайних эксцессов национализма. Но где она сейчас? Верхний этаж рухнул, в результате чего образовались осколки – новые независимые государства, несущие на себе родимые пятна той советской сверхцентрализованной системы со слабым гражданским обществом. Советы сами возвели принцип этноцентризма в ранг государствообразующей оси новых национальных республик и в результате, с одной стороны, сами заплатились за это, взрастив своих могильщиков, с другой – обусловили авторитарный тип правления в этих государственных образованиях, в которых национализм опять оказался объектом манипуляции со стороны правящих элит.

В этой связи я хотел бы провести размежевание между двумя видами национализма, на которые указала Л. Гринфилд⁶, – гражданским национализмом, основанным на суверенитете личности и индивидуальной свободе, и так называемым коллективистским, авторитарным национализмом, где доступ к формированию национально-культурной конституции монополизирован узким кругом лиц – правящей элитой и придворной интеллигенцией. Авторитарный вид национализма часто реализуется посредством конструирования национальной мифологии, призванной легитимировать узурпированное центральными элитами право выступать от имени нации. Наиболее ярким примером такого рода мифологии, доведенной до своего абсурда, конечно, является творение Туркменбаши “Рухнама”. Но по ряду признаков аналогичные мифологии конструируются и в других государствах, прежде всего в Узбекистане и Таджикистане.

Одним из индикаторов этого процесса служит своего рода соперничество в том, чья нация древнее и раньше других населяла регион. Официальные историки Узбекистана упорно отстаивают тезис о возникновении узбекской нации в начале II тысячелетия и обрушиваются на тех, кто возражает против произвольного проецирования современного понятия “узбек” в далекое историческое прошлое. Камолитдин, как и Губаева, а вместе с ними, к сожалению, и Шозимов, усмотрели в этой критике попытку связать этногенез узбекского народа с появлением даштикипчакских узбеков, совершенно не поняв того, что я говорил совершенно о другом – о том, что формирование современной узбекской идентичности следует относить ко времени образования Узбекской ССР. С таких же позиций я возражал бы и против “таджикизации” (как это пытается провести Шозимов и многие его коллеги в Таджикистане) и “туркменизации” исторического прошлого региона только на основании лингвистического сходства или нахождения археологических находок, оставшихся от той

или иной древней цивилизации, на современной территории данного государства. Э. Смит называет такой вид национализма ретроспективным, конструирующим свою национальную историю путем проекции национально-коллективного “Я” сегодняшней эпохи в далекое прошлое. В этой связи я вижу свою задачу в деконструировании такого типа национализма не только потому, что он строится на искаженной интерпретации истории, но и потому, что он служит препятствием для развития гражданского общества, целиком подавленного прессом авторитарного режима и скованного путями ложного мифологического самосознания.

* * *

В качестве постскриптума я хотел бы особо остановиться на отклике Б. Петрика, ряд заявлений которого поражает своей абсурдностью. Они настолько же неадекватны, сколь и опасны с политической точки зрения. Петрик считает, на мой взгляд, необоснованно ссылаясь на авторитеты типа Э. Геллнера и Ф. Барта, что этнические группы так же, как и нации, есть миф, создаваемый путем их называния, а те исследователи, которые, как шаманы, произносят и “категоризируют” их, и несут ответственность за их создание. Зря Петрик побеспокоил дух покойного Геллнера: тот хотя и считал нации конструктами, но не подвергал сомнению их реальность. Вот что говорит Э. Смит про своего учителя: “Эрнест всегда настаивал, что нации и национализм являются реальными и могущественными социологическими феноменами”⁷.

Конечно, в том, что говорит Петрик о “шаманстве” ученых, есть доля истины. В психологии есть экспериментальный тест. Вам говорят: “попробуйте не думать о голубом банане”. Фокус заключается в следующем: хотя в природе голубых бананов не существует, все же вы уже не можете не думать о нем, и мысль о нем, его образ в вашем воображении, конечно, спровоцированы психологом-экспериментатором. Но не все так просто и однозначно в реальной жизни, как в этом психологическом трюке.

Я и сам указал на национальную политику Советского государства 1920-х годов, вычеркнувшую понятие “сарт” и расширившую содержание категории “узбек” и тем самым серьезно повлиявшую на дальнейшие этнонациональные процессы в регионе. Однако от этого сложившаяся, сконструированная, если хотите, общность не перестала быть реальной. Да, она поддерживалась и поддерживается такими инструментами, как перепись населения, запись национальности в паспорте, канонизированная узбекская история и воспроизводящие ее учебники в школах и университетах, бесчисленные наглядные символы и т.п. Однажды действие этих инструментов достигает определенного результата, и сарты, зарегистрированные “узбеками”, действительно начнут себя ощущать узбеками и даже гордиться этим, забывая свои “сартские” корни. Вновь возникающая национальная идентичность становится не только ярлыком, но и укореняется в подсознании⁸. В этом смысле этнические группы и нации, даже если их границы и идентичность представляют собой результат конструирования и борьбы различных сил и элит, все же одновременно являются частью реальности, имеющей институциональный (границы, переписи, паспортные данные, учебники), ментальный (индивидуальное и групповое самосознание), коммуникативный (взаимодействие с различными группами и культурами) и иные аспекты. Да и сами этнические меньшинства в Узбекистане не только не восстают против их называния таковыми (хотя имеются и исключения), но и по собственной инициативе создают свои этнокультурные центры в стране, о чем сообщает другая статья “Этнического атласа Узбекистана”. Что же дурного в том, что кто-то это зафиксировал и записал?

Нет, Петрик, обвиняя исследователей, делающих такие записи, явно перегибает палку. Как ни странно, но его призывы совпадают с явной тенденцией новых авто-

ритарных режимов приглушить голос и занижить долю этнических меньшинств в своих странах. Так, Туркменбаши в своем опусе "Рухнама" занижает даже официально признанную статистику сегодняшней численности узбеков в стране – с 5 (по данным статистических органов)⁹ до 2%¹⁰, что трудно интерпретировать иначе, как один из признаков этноцентристской политики режима, стремящегося записать всех жителей страны туркменами.

Нет никаких возражений в том, что этнические общности определяют себя во взаимодействии друг с другом, что границы между ними не являются "естественными" и биологически заданными, а социально конструируются, что часто люди обладают множественностью идентичностей и т.п. Я бы еще добавил, что для одних этническая, расовая или религиозная принадлежность важна, для других нет. В Европе, где современные нации-государства состоялись, она не так важна, как на постсоветском пространстве, где современные нации-государства не состоялись, и в этой отрицательной корреляции между нацией-государством и этничностью есть определенная закономерность.

Этнические меньшинства – это, конечно, историческое и относительное понятие, и связано оно с появлением опять-таки национальных государств. На территории Узбекистана таджики, русские и другие неузбекские этнические группы действительно выступают в качестве национальных меньшинств, другое дело, как они идентифицируются и кого к какой категории относить. И ответственность за их создание лежит вовсе не на тех, кто их изучает постфактум, а на тех политиках и экспертах, которые проектируют и создают этноцентристские государства, разбору чего и была посвящена моя статья в "Этническом атласе". Игнорировать факт наличия этнических меньшинств, наоборот, означает подыгрывать диктаторам, пытающимся "сверху" создать этнонациональный монолит, которым было бы легко манипулировать.

Игнорирование реальности и феномена национальных меньшинств не только неадекватно существующим реалиям, но и чрезвычайно опасно с практической точки зрения. Неосторожное обращение с правами этнонациональных меньшинств привело к раскручиванию абхазского и осетинского сепаратизма в Грузии, к затяжному конфликту в Молдове. Даже в самом центре Европы, во Франции, игнорирование прав арабо-мусульманского меньшинства (история с запретом на ношение хиджабов в публичных учреждениях) привело к осложнению процесса их интеграции во французское общество, только усилив противостояние наиболее непримиримо настроенных сторон конфликта. Первопричиной же этой спирали конфликта, возможно, было всего-навсего неверное прочтение и применение теории конструктивизма в отношении этнических, расовых и религиозных меньшинств.

Игнорируя роль этнических отношений в Узбекистане, Петрик и здесь попадает впросак. "Узбекистан, по моему мнению, – пишет он, – не является обществом, основанным на этнических отношениях. Сети солидарности и карты конфликта организованы скорее по принципу регионализма, нежели по этническим линиям". Как же он тогда объяснит ферганские события 1989 г., когда целое землячество турок-месхетинцев было вынуждено бежать из Узбекистана? А ошские события? А история с введением государственного языка? Как раз явления регионализма выражены в Узбекистане слабее, чем в соседних странах бывшего советского Востока.

В своей якобы принципиальной приверженности конструктивизму Петрик доходит до крайности, которая становится неотличимой от другой крайности, представленной Камолитдином и Губаевой, и даже от позиции узбекского правительства. Последнее фактически ввело запрет на использование в прессе понятия "национальные меньшинства", как и на многие другие "горячие" темы, следуя унаследованной с советских времен страусиной политике: если сделать вид, что проблемы нет, то приходит ощущение, что ее на самом деле не существует. Советские партийные боссы,

как и Петрик сейчас, считали, что название проблемы или явления ведет к их возникновению. Результаты такой политики проявились в переломный момент развала СССР, когда десятилетиями подавляемые, но тлеющие межнациональные стереотипы вдруг выплеснулись наружу и привели к раскрыванию маховика этнонациональных конфликтов.

В этой связи я уже не удивляюсь рефреном звучащим в устах Петрика обвинениям в адрес международных организаций. Можно поздравить правительство Узбекистана, которое долго тужилось, выискивая юридические обоснования для закрытия Фонда Сороса¹¹. В лице Петрика оно, наконец, нашло западного ученого, озвучившего легитимные причины гонений на неправительственные организации в стране, но только теперь в наукообразной форме и со ссылками на западные научные авторитеты.

В конечном счете, Петрик скатывается с позиции ученого к обывательским кривотолкам и риторике некоторых авторитарных режимов относительно Института Открытое общество: огульно обвиняя организации типа Фонда Сороса в том, что они “финансируют создание атласов меньшинств не только в Центральной Азии, но и в других постсоветских государствах”, он не удосужился привести хотя бы одну ссылку на то, где же еще аналогичные атласы были изданы, кроме как в Узбекистане. Насколько мне известно, это пока единственный в своем роде проект, получивший поддержку Фонда Сороса, и решение о его поддержке принимали не в Нью-Йорке, а независимые члены экспертного совета из числа исключительно местных (!) профессионалов¹². Не буду распространяться по поводу того, сколько выражений благодарности авторы сборника получили от представителей нацменьшинств, голос которых был наконец услышан за 15 лет “немого” существования в стране. Упреки в адрес “Этнического атласа” прозвучали только от правительственных чиновников, а также номенклатурного руководства Института истории и его отдела этнографии и этнической истории, причем как раз с примордиалистских позиций. Очень жаль, что радикал-конструктивист оказался в одном ряду с ними.

Завершая данный постскрипtum, хотел бы еще раз повторить, что метод конструктивизма – достаточно тонкий инструмент, применять который следует с разборчивостью и осторожностью (по принципу “не навреди”), как и всякий иной метод вообще. В противном случае результатом может стать в лучшем случае – его вульгаризация, а в худшем – роковые ошибки в реальной политике.

Примечания

¹ Диспут состоялся 24 октября 1995 г. в Варвикском университете: <http://www.lse.ac.uk/Depts/Government/gellner/Warwick0.html>

² *Anderson B. Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism. L., 1983.*

³ *Khalid A. The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia. Berkeley, 1998.*

⁴ В этой связи абсолютно не правы современные таджикские националисты, утверждающие, что идеология пантюркизма была направлена на выдавливание иранской культуры. Это верно только в том смысле, что Восточная Бухара была наиболее отсталой и далекой от процессов модернизации частью региона. Не случайно последние очаги басмаческого сопротивления находились в горных районах Таджикистана.

⁵ В этом плане весьма продуктивным является метод нарративного анализа, который я пытался применить в другой своей работе, где на примере одной устной истории показал самодостаточность народного лидерства низшего и среднего звена. См. мою статью: *Impoverishment of the Masses in the Transition Period: Signs of an Emerging “New Poor” Identity in Uzbekistan // Central Asian Survey. 2001. Vol. 20. № 1. P. 33–54.*

⁶ *Greenfeld L. Nationalism: Five Roads to Modernity. Cambridge, Mass., 1992.*

⁷ Дискуссия 1995 г. в Варвикском университете.

⁸ Относительно другого культурного контекста это подтверждено результатами тестирования, предпринятого в свое время Т. Адорно, который пытался измерить феномен этноцентризма (см.: *Adorno T. The Authoritarian Personality*. N.Y., 1950).

⁹ Данные национального агентства статистики Туркменистана за 2003, приводятся по следующему источнику: <http://www.cia.gov/cialpublications/factbook/geos/tx.html#People>. Эти данные, в свою очередь, показывают снижение доли узбеков с 9% в 1989 г. (данные Госкомитета по статистике СССР, 1990) и 1995 г. (CIA World FactBook, 1995).

¹⁰ Saparmurat Turkmenbashi. *Ruhnama*, <http://www.turkmens.com>. С. 160.

¹¹ Представительство Фонда Сороса было закрыто решением правительства Узбекистана в апреле 2004 г.

¹² Я далек от мысли рисовать деятельность всех международных организаций как идеальную и лишенную недостатков. Их деятельность действительно заслуживает критического анализа. Но в этом деле необходим тот же строгий научный анализ, оперирование реально установленными фактами, а не огульная брань или несерьезная публицистика.

Special Section of the Issue: *Archaeology of Uzbek Identity* (guest editor: S.N. Abashin)

This issue's special section is a discussion of the process of identity formation in Uzbekistan. The discussion focuses on "Archaeology of Uzbek Identity", a controversial article by Alisher Ilkhamov that first appeared in *Etnicheskii atlas Uzbekistana* [Ethnic Atlas of Uzbekistan], a collection that was published in 2002 and subsequently became a subject of heated debates in Uzbekistan. A reworked version of A. Ilkhamov's essay, which has been updated and condensed (to accommodate the format of the journal), opens the section and is followed by comment and reflection pieces by scholars from different disciplines (ethnology, social anthropology, history, political science, etc.) and different countries (Uzbekistan, Russia, France, USA, Germany, etc.): Sergei Abashin, Stella Gubaeva, Shamsiddin Kamoliddin, Marlene Laruelle, Peter Finke, Pulat Shozimov, Igor Savin, William Fierman, Adeeb Khalid, and Boris-Mathieu Petric.